

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

«СТРАНА ФИЛОСОФОВ» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА: ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА

ВЫПУСК 5

ЮБИЛЕЙНЫЙ

По материалам
пятой международной научной конференции,
посвященной 50-летию со дня кончины А. П. ПЛАТОНОВА

23–25 апреля 2001 года. Москва

МОСКВА
ИМЛИ РАН
2003

Андрей Платонов

БЕССМЕРТИЕ*

Рассказ «Бессмертие» написан А. Платоновым в начале 1936 г. для коллективного сборника писателей о железнодорожниках, незадолго до того награжденных орденами Ленина, Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. Идея этого сборника возникает при следующих обстоятельствах.

В середине 1930-х гг. транспорт был одним из самых слабых мест в социалистическом хозяйстве страны: поезда по расписанию не ходили, на железной дороге часто случались аварии, в том числе и из-за разрыва поездов, и пр. Для ликвидации такого вопиющего беспорядка в марте 1935 г. новым наркомом путей сообщения был назначен Л. М. Каганович. Уже в июле он провел совещание работников железнодорожного транспорта, участники которого были приняты в Кремле руководством страны в лице Сталина, Калинина, Ворошилова, Орджоникидзе и др. На этом приеме Каганович обратился с приветствием к Сталину — «первому машинисту Советского Союза». Речь, построенная на драматических примерах из железнодорожной практики, была сказана одновременно и в назидание железнодорожникам, которые работали хуже «первого машиниста»: «Машинист революции внимательно следил за тем, чтобы в пути не было перекосов вправо и влево. Он выбрасывал гнилые шпалы и негодные рельсы — правых и “левых” оппортунистов и троцкистов. <...> Машинист великого локомотива повел наш локомотив без аварий и крушений до станции назначения — до построения социализма в нашей стране. <...> Наш великий машинист — Сталин — умеет вести поезд без толчков и разрывов. <...> Машинист социалистического строительства — Сталин твердо изучил и отлично знает, не в пример многим нашим машинистам, тяговые расчеты своего непобедимого локомотива. <...> Наш машинист правильно набирал и набирает скорость, разгон, чтобы взять трудные подъемы. <...> Он обеспечил, в отличие пока от нас, железнодорожников, безаварийное продвижение поезда. <...> Поезд революции идет четко и уверенно, твердо соблюдая расписание» и т. д.

* © М. А. Платонова.

Вскоре (постановлением от 5 августа 1935 г.) большая группа железнодорожников была награждена высокими правительственными наградами — очевидно, чтобы поднять престиж работы на транспорте. С той же целью в конце 1935 г. издательство «Трансжелдориздат» выпустило небольшую книгу «Люди великой чести», в которую вошли речь Кагановича на приеме в Кремле, Постановление о награждении работников железнодорожного транспорта, краткие биографии орденосцев и их благодарственные письма «дорогим Иосифу Виссарионовичу и Лазарю Моисеевичу». Как пишет Н. Корниенко, «очевидно, в это время и возникла идея художественной обработки этого нового материала», которая принадлежала Кагановичу и газете «Гудок» (Совещание в Союзе писателей: Чтение и обсуждение рассказа А. Платонова «Среди животных и растений» для журнала «Люди железнодорожной державы» // Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. М., 1994. С. 327.)

Для работы над коллективным сборником была сформирована писательская бригада, в которую вошел и Андрей Платонов. За писателями закрепили «героев». Платонову достались Э. Г. Цейтлин, начальник станции Красный Лиман Донецкой железной дороги, награжденный орденом Ленина, и А. П. Ворон, главный конструктор Краснолиманского отделения службы эксплуатации, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Платонов написал только об одном из них — Цейтлине Эммануиле Григорьевиче. Героем рассказа «Бессмертие» стал Левин Эммануил Семенович. Блестяще написанный, не содержащий ни одного публицистического авторского высказывания и повествующий действительно о типичном герое этого трагического времени рассказ понравился, и Платонову дали еще одного «героя» — Федорова Ивана Алексеевича, стрелочника станции Медвежья Гора Кировской железной дороги. Новый рассказ получил название «Среди животных и растений». Реакция на него как большинства собратьев по литературному цеху, так и представителей заказчика — НКПС — была отрицательной. Платонов пытается опубликовать оба рассказа в периодических изданиях, но ни один из московских журналов не принимает их без изменений. В конце концов «Бессмертие» (вместе с рассказом «Фро») напечатал в виде исключения литературно-критический журнал «Литературный критик» (1936. № 8). В редакционной статье «О хороших рассказах и редакторской рутине», предвалявшей эту публикацию, говорится и о безуспешных попытках Платонова предложить рассказы литературно-художественным журналам. При жизни писателя рассказ «Бессмертие» печатался еще дважды. Он вошел в небольшой томик рассказов 1937 г. «Река Потудань». И затем в 1939 г. в издательстве «Трансжелдориздат» появился наконец тот сборник, для которого новелла и была написана.

Сборник назывался «Железнодорожный транспорт в художественной литературе» и в своем окончательном виде отличался от задуманного в 1935 г. В книге объемом в 540 страниц только пять рассказов посвящено орденосцам. Литературный материал разбит на два раздела: «Минувшее» (в котором опубликованы «Железная дорога» Н. Некрасова, рассказы А. Чехова, отрывки из произведений Ч. Диккенса, О. Генри и пр.) и «Современность» (где рассказы об орденосцах занимают тоже далеко не первое место — среди стихов В. Маяковского, отрывков из произведений А. Толстого, Н. Островского, Л. Леонова, И. Ильфа и Евг. Петрова). Рассказы об орденосцах собраны в главе «Новое племя» вместе со стихами, прославляющими организаторов и вдохновителей их побед Сталина и Кагановича — такими, например, как «Песня о друге Сталина» Джембула. Казахский акын благодарит Кагановича за железную дорогу — иначе ехать бы ему до Москвы на верблюде всю жизнь:

Поезд не опоздал ни на час,
Вовремя прибыл он.

Твой, Каганович, могуч приказ,
 Слово твое — закон. <...>
 Все это дело твоей головы,
 Труд твоих крепких рук,
 Смелый и сильный, как сильны львы,
 Сталинский близкий друг!

Книга богато иллюстрирована репродукциями с картин на тему «роль транспорта в жизни вождей революции».

Из двух написанных для сборника платоновских рассказов составители включили в него только «Бессмертие». Героя же рассказа «Среди животных и растений» Федорова Ивана Алексеевича неизвестно по чьей инициативе передали другому автору — в рассказе М. И. Юфит «Любовь» он появляется под именем Ивана Лукашина. Это тем более странно, что орденосцев было пятьдесят шесть, а художественный портрет получили только пятеро из них. Каждый раздел книги снабжен примечаниями — краткими биографическими справками об авторе с указанием его основных произведений. О Платонове написано следующее: «Платонов Андрей Платонович (р. 1900). Беллетрист, выдвинувшийся из рабочей среды. Платонов написал немало рассказов и несколько повестей (“Такыр”, “Третий сын” и др.). Печатаемый рассказ очень характерен для литературной манеры Платонова и дает хороший портрет нового человека нашей эпохи».

Самой авторитетной из трех публикаций рассказа «Бессмертие» является журнальная. В двух других рассказ подвергся значительной редакторской правке.

Правка рассказа в книге «Река Потудань» (ответственный редактор Е. Усиевич) вызывает недоумение. Некоторые исправления можно объяснить только тем, что текст правили, не вникая в содержание. Например, во фразу: «...сказать ему о паровозе, который кричит с *перегона...*» (подвергшийся правке текст выделен курсивом) внесено такое изменение: «...который кричит с *Перегона...*», хотя речь в данном случае идет о железнодорожном перегоне, а не о названии станции. В журнале мы читаем: «В вагонах лежали товары <...>. Он чувствовал их больше, чем *верность* друзей», в книге же — «...чем *пару* друзей»; в журнале — «сегодня он сам *расшил* ночной график», в книге — «...*решил* ночной график»; в журнале — «а где твоя *кухарка-гадюка*», в книге — «а где твоя *кухарка, гадюка*». Есть и исправления специфически платоновских оборотов на более нормативные, например: «...обращаясь к кому-то *безответному*» — исправлено на «...обращаясь к кому-то *безответственному*». Много мелкой правки — где-то поставлен союз, где-то убрано слово, в результате чего нарушается ритм платоновской фразы. Особенно много изменений в структуре фразы — длинные фразы разбиты на более мелкие. Есть в книге и одно прибавление текста по сравнению с журнальной публикацией. В журнале: «Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее; у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда». Перечень того, что все еще волнует человека и мешает устремленности в будущее, в книге несколько длиннее: «...где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда, *зачинаются дети* и ютится ветхая нужда» (вероятно, эта вставка принадлежит самому Платонову, но в более позднем издании 1939 г. она отсутствует).

Что касается правки, которой подвергся платоновский текст в сборнике «Железнодорожный транспорт...», то она по крайней мере более последовательна и не столь мелочна, как в книге «Река Потудань», не затрагивает пунктуации и логических связей внутри текс-

та. Вот наиболее характерные образцы этой правки (приводим журнальный текст рассказа, выделяя курсивом подвергшиеся исправлению слова):

«Большое тело Галины болело *по транспорту* (исправлено — болело *от всяческих неполадок на транспорте*)».

«А начальники будут не такие, как я: они будут спать по ночам, <...> жить *в семействе* с женою среди родных детей (исправлено — жить *по-семейному*: с женою среди родных детей)».

«Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье *трудного* труда (исправлено — *большого* труда)».

Следующий фрагмент платоновского рассказа подвергся более существенному изменению, поэтому приведем последовательно оба текста — журнальный и книжный. Журнальный: «— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — *советская власть* — танцовало перед вами, — я вам не *она!*.. — А что ж ты, раз не *она?* — спросил Полуторный. — *Контр*, что ль? — *Он!* — согласилась Галя». Редактор «Железнодорожного транспорта...» внес в платоновский текст следующие исправления: он согласовал с женским полом Галины то обвинение, которое ей выдвигает возмущенный Полуторный (контр), а также исключил советскую власть из числа угождающих народу: «— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство танцовало перед вами, — я вам не *она!*.. — А что ж ты, раз не *она?* — спросил Полуторный. — *Контра*, что ль? — *Она!* — согласилась Галя».

При публикации «Бессмертия» в «Железнодорожном транспорте...» было снято авторское примечание к рассказу («В этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности...»), а также вычеркнуто полтора абзаца из первой главки, начиная со слов: «Сперва, когда Галина узнала такую жизнь...» и до слов «...пешей жить хоть и могла, но не хотела: не стало интереса».

Рассказ «Бессмертие» печатается по тексту, опубликованному в «Литературном критике».

Примечание на первой странице («В этом рассказе нет фактов...») принадлежит Платонову. Мы снабдили рассказ реальным комментарием, а также кратким словарем железнодорожных терминов. Словарь составлен на основе следующих изданий: *Раков В. А.* Локомотивы отечественных железных дорог 1845–1955. М., 1995; Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. М., 1995.

БЕССМЕРТИЕ *

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД¹. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на короткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера² висел беспомощный, тяжеловесный

* В этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность.

состав, а на входном светофоре³ был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал светил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ночной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн, и бандаж паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельсов.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле до отказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены.

Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое случилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое: ну не мученье, ну не разложение это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с перегона⁴. Но в комнату она не вошла: она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит... Обожди минуту! Послушай горку⁵!..

Кухарка Галя тоже прислушалась. С другого направления, не там, где кричал поездной ФД, слышались теперь жалобные гудки второго паровоза.

— Слышишь? — спросил в телефон начальник. — Скомандуй на горку, чтоб тормоза отдали: горочный паровоз не может осадить состава!

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя пошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз⁶. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах⁷? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак⁸ не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячи это остатки!.. Скажусь-ка я Лазарю Моисеевичу про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтоб спать хозяину в сутки давали...

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила: меня несколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу, — мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина — девка такая!

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого применения, поскольку она хотела существовать пешей в одиночку, а еду носить в котомке за спиной. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить, хоть и могла, но не хотела: не стало интереса.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются... Ни то нынче треснут, ни то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет... Завтра надо ему сметаны купить. Чегой-то это колхозники возить ее мало стали: сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовалась теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила втайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка, она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, — точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

*

Наутро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую

давно, в старинные года, из кусков юфти и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, — только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движения тучных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина; зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутроких кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадрам портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть — танцовало перед вами, — я вам не она!..

— А что ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает как быть и круглые сутки тоскует: у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его баба-жена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке... Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх жизнь, когда ты организуешься, чтоб уж не чуют тебя!

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезд... Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система ра-

боты лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один; со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согреть другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее; у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в кровь своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внезапным наступлением личных, интимных, потрясающих сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин.

Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что ее прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси ве-
ник, поговори с его женой... Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел незнакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

— Здравствуй... Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу идти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а

оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено прееет, а ты только вздыхаешь ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела, — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма!.. У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало... Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал Каганович, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне?

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба необратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка-дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому составу. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура, в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одинокий человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. «Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семействе с женою среди родных детей».

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович. У конторщика жена на шпалозаводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком закрыта... Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней же хатке... Дитя одно целый день живет: отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организовать!..

— Ступай возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин, — посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам стоготит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натошак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко⁹ опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальчика в одеяло с собой на квартиру, обед стоготить и с ним поцацкаться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост. Ночью замазали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отпращиванию, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. — Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился, — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе не хватало зарплаты, — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки¹⁰... Что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может — беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер¹¹ сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сшел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном... Ты жаден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Поспишь потом немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь... Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься... Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходят, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков не хватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь...

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угрождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная... Может, потом застервеет...

— Не застервеет: воспитаем,отрегулируем. Ты ее сам не испортишь...

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник...

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. «Эх ты, жлоб московский, жадный чорт! — сказал он в стекло. — Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы глиняные...».

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители¹² пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

— Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется тогда! Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила, — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла...

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь... Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр...

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блокнот, написал записку...

— Знаешь, где редакция «Транспортника»?.. Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят, — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку... Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уж всерьез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял...

— Какой центнер?

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит, — мешанка такая!... Ну теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

*

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после окончания института Эммануил Семенович Левин прожил одиноким. Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом, — дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела над неба. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станций, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдаль; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться-

ся от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удаленных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком...

Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшее от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и может быть — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни. Он сидел в школе, рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид, начался урок по Закону Божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: «Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить». Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: «хочу домой». Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти: кто ее знает...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— А я Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку...

Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Каганович понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, Лазарь Моисеевич...

— Самое трудное, самое нужное, — говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция.

Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич. Я теперь передумую сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали это мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал Каганович. — Она еще долго будет идти...

Левин вздрогнул. Интонация раздумья, человечности, тревога истинной героической души была в этих словах, сказанных точно про себя.

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, Лазарь Моисеевич... Мы будем работать, зима пройдет.

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох... Пишите мне письма или вызывайте к аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

*

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его

совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начинал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал вовремя. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное, домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — в Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбужденного сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

— Слышал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. — Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжелше дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали, — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах, и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впастью своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспособлять свою душу ради приближения к другой, всегда замороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин согнувшись шел по путям в дальний парк прибытия. «Нельзя ли системе предварительной информации начинать в месте формирования поездов?» — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона¹³, снижение нормы простоя, коммерческая скорость¹⁴, график...

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии, сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды...

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересует лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. «Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!»

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные паровозы пели на удаление. Левин забывался, свет его покрасневших от бессонницы глаз угасал во внутренней тьме беспамятства.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, эр я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел

сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке¹⁵ достаточно велик, можно добавить нагрузку.

¹ *Паровоз ФД* — мощный грузовой паровоз, разработанный в Техническом транспортном отделе ОГПУ; назван в честь Феликса Дзержинского (ФД). Первый паровоз данного типа построен в конце октября 1931 г. Основная единица грузового парка второй пятилетки.

² *Тендер* — специальная повозка (платформа, вагон), прицепляемая к паровозу и служащая для размещения запасов топлива, воды, смазочных материалов, инструмента.

³ *Входные светофоры* — обозначают границы перегона.

⁴ *Перегон* — часть ж.-д. линии между смежными станциями, разъездами, путевыми постами и пр.

⁵ *Горка* (сортировочная) — станционное устройство, позволяющее благодаря уклону ж.-д. путей использовать силу тяжести вагонов для самостоятельного их движения (скатывания) на разветвляющиеся пути сортировочного парка.

⁶ *Маневровый паровоз* — предназначен для выполнения всех передвижений вагонов по станционным путям, формирования и расформирования поездов, перестановки из парка в парк и т. д.

⁷ *Маневры* — перемещения подвижного состава в пределах станции, связанные с обработкой прибывших и отправляемых поездов.

⁸ *Башмак* (тормозной башмак) — приспособление для торможения движущихся групп вагонов и других видов подвижного состава. Он используется в качестве тормозного средства на сортировочных путях сортировочных горок, для закрепления вагонов на станционных и подъездных путях.

⁹ *Левченко Н. И.* — в описываемый Платоновым период времени (зима 1935–36 г.) начальник Донецкой железной дороги, к которой относилась и станция Красный Лиман, преобразованная писателем в Красный Перегон.

¹⁰ *Стрелка* — устройство, обеспечивающее разветвление рельсовых путей при их соединении и пересечении.

¹¹ *Хоппер* — саморазгружающийся бункерский грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих грузов.

¹² *Замедлитель* (вагонный замедлитель) — смонтированное на ж.-д. пути тормозное устройство для снижения скорости движения вагонов.

¹³ *Оборот вагона* — время от момента окончания погрузки или приема вагона в груженом состоянии до момента следующей погрузки или сдачи вагона (основной показатель использования вагонного парка по времени).

¹⁴ *Коммерческая скорость* — показатель эксплуатационной работы транспорта, средняя скорость движения.

¹⁵ *Осевая шейка* — деталь вагонной пары — основного элемента ходовой части подвижного состава.

Подготовка текста, вступительная статья и примечания Н. Дужиной.